

Н.Н. Наседкин

Князь Мышкин

МЫШКИН Лев Николаевич (князь Мышкин) — главный герой романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Повествование начинается со сцены встречи в вагоне поезда Парфена Рогожина с князем, который возвращается из Швейцарии в Россию. «На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Владелец плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падающую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — все не по-русски...» Тут же вскоре он объясняет Рогожину и другому попутчику — Лебедеву — свое происхождение: «...князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде...»

«Дороманная» биография князя вкратце такова (он рассказывает о себе генералу Епанчину): «Остался князь после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало сельского воздуха. Павлищев доверил его каким-то старым помещицам, своим родственницам; для него нанималась сначала гувернантка, потом гувернер; он объявил впрочем, что хотя и все помнит, но мало может удовлетворительно объяснить, потому что во многом не давал себе отчета. Частые припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и сказал: идиота). Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который занимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодной водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма, и от сумасшествия, при этом обучает и берется вообще за духовное развитие; что Павлищев отправил его к нему в Швейцарию, лет назад около пяти, а сам два года тому назад умер, внезапно, не сделав распоряжений; что Шнейдер держал и долечивал его еще года два; что он его не вылечил, но очень много помог; и что наконец, по его собственному желанию и по одному встретившемуся обстоятельству, отправил его теперь в Россию...»

Прибыв в Россию, князь Мышкин отправляется первым делом в дом Епанчиных и там в разговоре с девицами Епанчиными и их матушкой Елизаветой Прокофьевной Мышкин сам себя характеризует наиболее точно и емко, сообщая мнение о себе швейцарского доктора: «Наконец, Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, — это уж было пред самым моим отъездом, — он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда: я и в самом деле

не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, — и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям...»

Немудрено, что в каждом встречном человеке князь видит прежде всего ребенка, и неудивительно, что каждый такой «ребенок» становится мучителем кроткого князя, ибо уже давно вырос, огрубел, погряз в своих страстях и болезнях. Это относится и к Настасье Филипповне, и к Аглае Епанчковой, и к Парфену Рогожину, и к Ипполиту Терентьеву, и вообще ко всем остальным персонажам романа, кроме, разве, Коли Иволгина, который единственный настоящий ребенок в романе и есть.

Вскоре, после поездки в Москву, внешний вид князя несколько изменится: «Если бы кто теперь взглянул на него из прежде знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд, то пожалуй бы и заключил, что он наружностью переменялся гораздо к лучшему. Но вряд ли это было так. В одной одежде была полная перемена: все платье было другое, сшитое в Москве и хорошим портным; но и в платье был недостаток: слишком уж сшито было по моде (как и всегда шьют добросовестные, но не очень талантливые портные) и сверх того на человека, несколько этим не интересующегося, так что при внимательном взгляде на князя слишком большой охотник посмеяться, может быть, и нашел бы чему улыбнуться. Но мало ли отчего бывает смешно?..»

Перипетии взаимоотношений, соперничества, страстей в треугольниках «князь Мышкин — Рогожин — Настасья Филипповна» и «князь Мышкин — Настасья Филипповна — Аглая», интриги вокруг свалившегося как снег на голову «миллионного» наследства... Все это вряд ли выдержал бы человек и с более здоровой психикой. Финал князя печален: болезнь обострилась, он стал идиотом в полном смысле слова, и, по мнению доктора Шнейдера, теперь уже навсегда.

С образом князя Мышкина, одного из самых любимых героев автора, связаны некоторые автобиографические моменты. К примеру, Достоевский «подарил» ему свою главную болезнь — эпилепсию, «передал» ему свое впечатление от картины Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос», которая потрясла Достоевского в Базеле («Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!..»), но самое главное — «доверил» ему со всеми психологическими подробностями рассказать о переживаниях человека перед смертной казнью, которые сам он пережил 22 декабря 1849:

«Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но однако же в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. <...> Он помнил все с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Трех первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые, длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. [Сам Достоевский на эшафоте стоял шестым и попадал во вторую очередь]. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. <...> Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две

минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжело, как непрерывная мысль: “Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!” Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорей застрелили...»

Отдельные штрихи сближают главного героя «Идиота» с издателем журнала «Русское слово» графом Г. Кушелевым-Безбородко, но, конечно, главными «прототипами» Льва Николаевича Мышкина или, скорее, ориентирами, образцами послужили, как указывал сам Достоевский, — Иисус Христос и Дон Кихот.